

ЧАЙ В ЧЕТЫРЕ



Евгений Павлов

Евгений Павлов

Чай в четыре

«Автор»

2026

Павлов Е.

Чай в четыре / Е. Павлов — «Автор», 2026

1976 год, СССР. В научном городке происходит загадочное событие: старший научный сотрудник Павел Андреевич Семёнов найден мёртвым в своем кабинете. Рядом с телом — раскрытая книга «Оптика» Ньютона и недопитый чай. Несчастный случай или убийство? Шестидесятидвухлетний физик-теоретик Александр Петрович Громов не склонен верить в случайности. Он тщательно изучает место происшествия, фиксируя детали: температуру, давление, запахи. Громов уверен: в системе есть ложь. Тайна, скрытая между банкой смородинового варенья и страницей сорок семь старой книги, не поддаётся разгадке силовикам. Громов расследует дело не по долгу службы, а из-за того, что его друг не допил чай. Этот уютный детектив с элементами fair play предлагает читателю возможность увидеть все улики до финала. Тёплая атмосфера советского дачного посёлка, интеллигентный юмор и неожиданный поворот заставят вас переосмыслить каждую страницу.

© Павлов Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Недопитый чай	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Евгений Павлов

Чай в четыре

Глава 1. Недопитый чай

Александр Петрович Громов медленно шагал по дорожке из красного кирпича. Хотя на самом деле кирпичи были скорее охристыми, местные жители прозвали её «красной». Уложенные в пятьдесят седьмом году, за двадцать лет они обросли мхом по краям, придавая дорожке вид старой книги в кожаном переплёте — потрёпанной, но всё ещё целой.

Слева росла яблоня, посаженная Павлом Андреевичем в пятьдесят девятом году. Громов помнил это, потому что записал в свой дневник погоды: «П. А. сажает яблоню. Сорт "Антоновка". Почва суглинистая. После дождя». Сегодня дождь прошёл около трёх часов дня. Громов знал это не по часам, а по запаху. Дождь оставляет на жённом листе крыши особый металлический, сладковатый аромат, напоминающий старые гвозди в банке. Громов называл этот запах типом 7Б. В его дневнике было двенадцать типов запахов дождя.

У забора участка номер шесть стоял Виктор Петрович. На нём были резиновые сапоги, которые местные называли «бахилами», хотя настоящие бахилы выглядели иначе. Виктор Петрович был одет в плащ-палатку цвета хаки, которую носил с пятьдесят четвёртого года. Теперь она потеряла цвет и стала скорее состоянием ткани, чем определённым оттенком. Виктор Петрович ковырял тяткой землю у грядки с помидорами, не поднимая глаз, когда Громов проходил мимо. Тятка была деревянной, с железным наконечником, закалённым Виктором Петровичем в костре прошлой осенью. Она издавала звук, похожий на скрежет по стеклу — скрипучий и упрямый, как будто земля не хотела поддаваться.

— Дождь хороший, — произнёс Виктор Петрович, не обернувшись. — Помидоры растут. А люди — нет.

Громов замер. Он знал, что Виктор Петрович не ждёт ответа, но ответ был необходим, потому что молчание в таких случаях воспринималось как согласие.

— Люди тоже растут, — ответил Громов. — Просто не в высоту.

Виктор Петрович тихо фыркнул. Это был смех, но смех человека, который смеётся редко и не всегда уверен, что у него это получается. Он по-прежнему не поднимал глаз, и Громов видел только лысый затылок с коричневыми пятнами, напоминавшими карту островов, которую он когда-то рисовал в институте на лекции по географии. Эти пятна едва заметно двигались, когда Виктор Петрович едва заметно кивал, почти микроскопически. Громов видел всё, что двигалось.

— Павел Андреевич, — внезапно произнёс Виктор Петрович. — Я слышал.

— Да? — отозвался Громов.

— Плохо слышал. Но слышал.

Громов ждал. Виктор Петрович продолжал копать, и тятка продолжала скрипеть. Между ними росли помидоры — зелёные, твёрдые, с капельками дождя на кожуре, которые блестели, как маленькие линзы на солнце. Громов сосчитал кусты: семь. Он всегда считал, когда нервничал — цифры успокаивали. Цифры не умирают.

— Я ему помидоры обещал, — проговорил Виктор Петрович. — На неделе. Он любил помидоры с солью и луком. Я ему говорю: «Павел Андреевич, лук — для огорода, не для желудка». А он отвечает: «Виктор Петрович, желудок — это тоже огород, только внутренний». Станный был человек.

— Странность — это не диагноз, — заметил Громов. — Просто характеристика. Как «высокий» или «лысый».

Виктор Петрович поднял глаза. Они были красными от ветра, от работы, от чего-то ещё, о чём он не говорил. Он посмотрел на Громова, затем на свой сад, снова на Громова.

— Вы тоже странный, — произнёс он. — Идёте, как будто на работу. А работа здесь мёртвая.

— Мёртвое не убегает, — ответил Громов. — Значит, я не опоздаю.

Виктор Петрович ещё секунду смотрел на него, затем опустил взгляд. Громов пошёл дальше. Он знал, что Виктор Петрович простоит у грядки до темноты, потому что в огороде можно забыть обо всём, а дома мысли лезут в голову, как мухи в июле.

Дом Павла Андреевича стоял на участке номер семь в посёлке Берёзки. Это был обычный дачный домик: бревенчатый, с кирпичной пристройкой и крыльцом из старых, прогибающихся досок. Дверь была открыта, и Громов не удивился. В Берёзках двери не запирали. Замок означал бы: «Я тебя боюсь», а это было хуже кражи. Полиция могла поймать вора, но страх перед людьми был сильнее. Совесть в посёлке была общей, как вода из колонки. Если кто-то воровал, то все знали об этом. Если кто-то боялся, то боялись все. Поэтому двери обычно оставляли открытыми, а воров наказывали общественным порицанием, которое было страшнее любого закона. Громов знал одного такого человека — Коляна, который украл яблоки у Петровича в шестьдесят девятом. После этого его три года не обслуживали в магазине — продавщица не замечала его в очереди. Это наказание было более эффективным, чем любой суд.

Громов вошёл в прихожую. Здесь пахло старым пальто, которое носилось десятилетиями. На вешалке висело серое пальто Павла Андреевича с перламутровыми пуговицами, привезёнными из Ленинграда в шестьдесят третьем. Пуговицы были холодными, словно хранили в себе ленинградский ветер. Под пальто стояли галоши — не резиновые сапоги, а те, что надевают поверх обуви, с застёжками, щёлкающими, как кастаньеты. Галоши были сухими, значит, Павел Андреевич выходил до дождя или вообще не выходил. Громов снял свои чёрные галоши с трещиной на левой и поставил их рядом. Это был автоматический жест, как дыхание. Павел Андреевич не любил беспорядок в прихожей: «Обувь — это показатель порядка. Если обувь стоит ровно, то и мысли ясные».

В прихожей стояло зеркало в раме из светлого дерева, вырезанной Павлом Андреевичем в пятьдесят пятом. В зеркале Громов увидел себя — высокого, седого мужчину с лицом, похожим на древесину. Он не улыбался, улыбка была для него роскошью, доступной только в присутствии Клары Исааковны и то не всегда. Он посмотрел на себя ещё раз, потом отвёл взгляд. В зеркалах нет ничего, чего нельзя было бы увидеть быстрее.

Кабинет-гостиная пахла выветренным табаком «Казбек», который годами въедался в ковёр и оседал на шторах. Под ним — старая бумага с запахом высохшего крахмального клея и осыпающейся типографской краски. И ещё — нафталин. Он шёл от шерстяного пледа на кресле, привезённого Klarой Исааковной из Москвы в пятьдесят девятом. Громов вдохнул воздух и разложил запахи по полочкам, как библиотекарь расставляет книги после возврата.

Табак был слабее обычного. Значит, Павел Андреевич не курил после обеда — а он всегда курил с чаем и печеньем, которое пекла Валентина Игоревна в банках из-под детского питания. Громов знал это, потому что сам сидел с ним за столом в прошлое воскресенье, и пепел падал в фарфоровую пепельницу «Спартак». Сейчас пепельница была пуста, вымыта и вытерта, словно кто-то хотел стереть последний след.

Бумага пахла сильнее. Значит, Павел Андреевич сегодня много читал или кто-то трогал его книги. Громов посмотрел на стол — книги лежали ровно, как он их оставил вчера. Но «ровно» тоже было важно. Кто-то их выравнивал, хотя Павел Андреевич никогда не выравнивал книги, а ставил их, как домино или частицы в ускорителе.

На стене висела настольная лампа с зелёным абажуром, купленным на блошином рынке в шестьдесят втором. Абажур выгорел, с дыркой, через которую свет пробивался, как луч через облако. Лампа была выключена, хотя Павел Андреевич всегда включал её даже днём, говоря, что «искусственный свет — тоже свет, просто другой температуры». Сейчас в комнате было темно, как субботним днём, когда облака закрывают солнце и время словно замирает между обедом и ужином.

Книги на полках стояли стопками, как домино, а не рядами. Павел Андреевич не верил в алфавитный порядок. Он ставил книги по ассоциациям: «Ньютон» рядом с «Перепиской Лейбница», потому что они всю жизнь спорили и должны были продолжать спорить на полке. «Оптика» стояла рядом с «Теорией цвета» Гёте, так как, по словам Павла Андреевича, «Гёте был дурак с системой». Громов заметил, что некоторые стопки сдвинуты — не заметно, но он это видел. «Ньютон» стоял на миллиметр правее, чем в прошлый четверг, а Громов помнил всё, что можно измерить.

Шторы были опущены наполовину, так что свет падал полосой на стол, разрезая его. Павел Андреевич всегда опускал шторы, читая днём, потому что «прямой свет — для растений, а книги — не растения». Шторы были опущены, но лампа выключена. Значит, кто-то сначала опустил шторы, а потом выключил лампу или наоборот. Порядок действий тоже был уликой.

Ковёр под столом был старым — восточным, с узором, который Павел Андреевич называл «квазикристаллическим». На самом деле это был обычный бухарский узор. У ножки стола лежал сухой, скрученный чайный лист, как будто его вытряхнули из чашки. Громов не трогал его, но отметил: лист — это тоже информация. Чай не допит. Кто-то его не допил.

На пороге стоял молодой милиционер в мокром плаще, но не от дождя. Дождь кончился два часа назад. Плащ был мокрым от пота. В руках у него были блокнот и карандаш, но в блокноте было всего три строки. Громов прочитал их: «15:05. Вызов от гр-на Семёнова А.П. 15:20. Прибытие. Тело в кресле». Милиционеру было лет двадцать два, у него были усики, которые он считал усами, и пуговица на рукаве, которую теребил, не замечая этого. Громов узнал этот жест. Он видел его у студентов перед экзаменом: пальцы находят пуговицу, будто это даёт иллюзию контроля.

— Александр Петрович, — сказал милиционер, — вы доктор?

— Доктор физико-математических наук, — ответил Громов, — это не то же самое, но я знаю Павла Андреевича четверть века.

Милиционер кивнул, как будто четверть века — это допустимый диагноз, и отступил в сторону. Его пуговица осталась нетронутой, но палец снова нашёл её. Громов вошёл в кабинет.

Первое, что он заметил, — кресло «Венское». Он знал его: сидел в нём не раз — за чаем, беседами о Ньюtone, просмотром диаграмм преломления. Кресло стояло неправильно. Спинка была повёрнута к двери под странным углом — Громов взглянул на компас на запястье и увидел: пятнадцать градусов от нормы. Кто-то сдвинул его. Или кто-то неаккуратно сидел и вставал. Или специально.

В кресле сидел Павел Андреевич. Его голова была запрокинута назад, руки лежали на подлокотниках. Поза выглядела неестественно спокойной, как у человека, уснувшего во время чтения. Но Громов знал: Павел Андреевич никогда не засыпал в кресле. «Кресло — это рабочий инструмент, а не для сна», — говорил он. «Кровать — для сна, кресло — для мысли. Если засыпаешь в кресле, значит, мысли кончились. А если мысли кончились — ты кончился».

Кожа на руках Павла Андреевича была серой, как старая бумага, долго пролежавшая на солнце. Громов не касался её, зная, что прикосновение не даст больше, чем он уже увидел. Но он посмотрел на пальцы, сложенные на подлокотнике, словно Павел Андреевич держал что-то, а затем это забрали. Или у него что-то отобрали.

На столе стояла чашка с недопитым чаем. Чай был холодным, и металл чашки был комнатной температуры. Значит, он остывал не меньше часа. Чай остывает по экспоненте: сначала быстро, потом медленнее. Громов прикинул: полтора-два часа. Получается, чай заварили около четырнадцати тридцати. В четыре часа он остыл. Но четыре — это шестнадцать часов. Значит, чай заварили раньше. Кто-то пришёл раньше или Павел Андреевич ждал кого-то, заранее приготовив чай.

У стены на подносе стоял самовар. Угли внутри были тёплыми, но не горячими. Громов поднёс руку и почувствовал тепло. Значит, угли подбросили полтора-два часа назад. Самовар разжигали. Или Павел Андреевич сам его разжигал, готовясь к чаепитию. Самовар был угольный, с медными ручками, которые со временем обгорели и потемнели до цвета старой монеты. Павел Андреевич умел разжигать угли. Он выбирал берёзовые чурки, дробил их в тисках у сарая и поджигал спичками «Красная цена», которые хранил в железной банке из-под печенья «Крокет». Таких спичек сейчас не делают. Громов знал это, потому что сам покупал их в прошлом году. Спички были шершавыми, и их приходилось чиркать три раза, прежде чем они загорались. Он тогда подумал, что даже спичечная фабрика не избежала энтропии.

Рядом с чашкой лежала верёвка — пеньковая, толщиной с карандаш, около полутора метров. Она лежала аккуратно, словно её положили, а не бросили. Громов не касался верёвки. Он знал, что трогать её нельзя — это дело милиции. Но он отметил: пенька, а не хлопок или синтетика. Пенька — это сельское хозяйство, сараи, огороды. Не кабинет физика-оптика.

На столе рядом с верёвкой лежала книга — «Оптика. Курс лекций», третий том. Страница сорок семь была заложена фольгой. На странице — диаграмма преломления света в призме. Громов сразу узнал её. Он сам рисовал её на доске в пятьдесят восьмом году, когда читал курс для аспирантов. Павел Андреевич тогда сидел в первом ряду и записывал каждое слово, будто боялся, что доска сотрётся сама собой.

На странице сорок семь было небольшое коричневое пятно, подсохшее до размера горошины. Края подсохли, центр остался влажным. Громов прикинул: капле около часа, может быть, полутора. Она попала на страницу, пока книга была открыта. Значит, кто-то читал или открыл книгу после. Или кто-то поставил что-то мокрое на страницу.

На полу, под столом, виднелась ещё одна капля. Она была меньше предыдущей, свежее. Громов не трогал её, лишь бросил взгляд и запомнил: две капли, два разных времени, два разных места. Это не случайность. Это след.

Милиционер обратился к Громову:

— Александр Петрович, сын пришёл.

Громов обернулся. В дверях стоял Андрей Семёнов, сын Павла Андреевича. На нём был серый костюм, который сидел плохо, и фетровая шляпа с лентой. Андрей сжимал шляпу так сильно, что его ладонь побелела. Громов знал его. Они виделись два года назад на дне рождения Павла Андреевича. Тогда Андрей был немного пьян: говорил громче обычного и смеялся над не самыми смешными шутками. Сейчас он был трезвым. Или шок был сильнее алкоголя.

— Я пришёл в начале четвёртого, — сказал Андрей. — Он лежал. Я думал, спит. Коснулся — холодный. Позвонил в милицию из коридора.

— Хорошо, — ответил Громов. — Телефон в коридоре.

Андрей кивнул, продолжая нервно сжимать шляпу. Его пальцы перебирали ленту, будто она была счётными палочками. Большой палец скользил по внутренней стороне ленты, находя шов, и возвращался назад. Этот жест Громов помнил с детства. Тогда Андрей крутил в руках машинку, когда нервничал. Теперь это была шляпа. Механизм тот же.

— Почему вы не спрашиваете? — спросил Андрей.

— О чём? — ответил Громов.

— Почему я пришёл. В начале четвёртого. В субботу.

Громов молча смотрел на него. Он знал, почему Андрей пришёл. Не по своей воле. Потому что суббота — единственный день, когда можно приехать из города без разрешения начальника. Потому что «начало четвёртого» звучит нормально для визита к отцу. Три — это слишком рано. Это значит, ты знал, боялся или надеялся.

— Я не спрашиваю, — сказал Громов. — Но если хочешь сказать — слушаю.

Андрей открыл рот, затем закрыл. Его сухие, потрескавшиеся губы облизнул язык.

— Он звонил, — сказал Андрей. — Вчера вечером. Пригласил в субботу: «Нужно поговорить». Я спросил, о чём. Он ответил: «О книгах». Я думал, опять книги. Он вечно о них говорил. Словно книги важнее... — Андрей замолчал. — Важнее чего?

— Важнее всего, — ответил Андрей. — Но я приехал, потому что он сказал «нужно». Он никогда так не говорил. Обычно: «приезжай», «заходи», «будет чай». А тут — «нужно». Я подумал, может, он болен. Или...

— Или знал, — продолжил Андрей. — Что кто-то придёт. И что я должен быть здесь.

Громов кивнул. Он не знал о звонке Павла Андреевича. Это была новая переменная в уравнении. Он мысленно зафиксировал её, как показания прибора: «Андрей. Вызов. Книги. Воскресенье. 15:00».

— Что вы будете делать? — спросил Андрей.

— Чай пить, — ответил Громов. — Потом. Сейчас — смотреть.

— На что? — Андрей шагнул вперёд, но остановился, будто невидимая преграда возникла между ним и креслом. — На него? Он мёртвый. Мёртвые...

— Не убегает, — закончил Громов. — Да. Но что-то оставляют. Всегда. Энтропия необратима, но информация сохраняется.

Андрей посмотрел на Громова, словно тот говорил на языке, который он давно забыл. Потом развернулся и вышел в коридор. Громов слышал его тяжёлое дыхание у телефона, висевшего на стене. Павел Андреевич специально поставил его там, чтобы гости не проходили через кабинет, если звонили.

Милиционер подошёл к Громову.

— Александр Петрович, что делать? — спросил он.

— Ждать эксперта или меня, — ответил Громов. — Я не эксперт, но знаю, где рулетка.

— Рулетка?

— В левом нижнем ящике стола. Павел Андреевич хранил её там, потому что Клара Исааковна ругалась, когда он измерял комнату без причины.

Милиционер направился к столу. Громов задумчиво смотрел на кресло, на Павла Андреевича, на чашку с недопитым чаем. Он вспоминал, что чай в четыре часа был их ритуалом. Обычно по четвергам, иногда по воскресеньям. Павел Андреевич заваривал чай в самоваре, Громов приносил печенье, и они беседовали до темноты о свете, преломлении, расширении вселенной и остывании чая в чашке. Теперь чай остыл. Возможно, и вселенная тоже, но едва заметно, только в этой комнате.

Громов вышел на крыльцо. Тёплый ветер напоминал о лете. Он достал блокнот — чёрный, в клетку, с резинкой, которую сама пришила Клара Исааковна, потому что таких в магазине не было — и сделал запись:

«14.08.1976, суббота. Участок 7. Павел Андреевич Семёнов, 62 года. "Венское" кресло — 15°, самовар с тёплыми углями, чай холодный. Верёвка пеньковая на столе. Книга "Оптика", стр. 47, капля (стадия 2). Капля на полу (стадия 1). Андрей пришёл в 15:00. Павел Андреевич звонил ему вчера, говорил о книгах. Запах табака слабый, бумаги — сильный. Пепельница вымыта, книги ровные. Кто-то был здесь, кто-то ушёл, оставив следы. Мне нужно понять порядок. Энтропия необратима, но порядок можно восстановить, хотя бы частично».

Он закрыл блокнот и посмотрел на яблоню. Дерево слегка наклонилось к дорожке, будто прислушиваясь к разговорам прохожих. Громов знал, что деревья не могут слышать, но всё же тихо сказал:

— Мёртвые не исчезают бесследно. Они всегда оставляют что-то после себя.

Ветер доносил аромат сена из сарая Кузнецова и сладкий запах, возможно, варенья, которое Валентина Игоревна варила вчера, или просто земли после дождя, напоминающей детство. Громов не помнил своего детства, только формулы. Но в такие вечера формулы тоже пахли землёй.

Затем он отправился домой. По дорожке из красного кирпича, которая казалась охристой, мимо участка Виктора Петровича, где тот оставил тяпку, словно флаг на завоеванной территории. Мимо яблони, посаженной Павлом Андреевичем в пятьдесят девятом, и мимо спящего посёлка, не ведавшего о необратимых изменениях в одном из своих домов. Громов шёл медленно, потому что спешить было некуда, и потому что медленная прогулка позволяла заметить то, что ускользает при быстрой ходьбе.

На дорожке у забора он заметил лужу размером с блюдце. В воде плавал белый предмет, похожий на чайный лист. Громов остановился, чтобы рассмотреть его. Это действительно был чайный лист, оставленный кем-то, кто недавно проходил здесь. Этот кто-то спешил и не захотел оставлять чай остывать в чашке.

Громов ничего не записал. Он просто запомнил это и продолжил путь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.